

## КАЗАНОК

Такая неожиданно шустрая, огнистая рябь запрыгала по лицу спящего Егорки, что ему почудилось во сне, будто это мелькают перед ним сотни ярко-золотистых бабочек и, касаясь своими бархатистыми крылышками, щекочут глаза, нос и щеки. Егорка смеялся, крепко зажмурил глаза, заслонял лицо ладошками, но веселая стайка, словно капли воды, просачивалась сквозь пальцы и сверкающими брызгами снова сыпалась на лицо. Тогда Егорка глубоко-глубоко втянул легкими воздух, чтобы изо всех сил дунуть на назойливо мелькавшие светящиеся хлопья, и... проснулся. Когда он открыл глаза, воображаемые во сне огненные бабочки стали обыкновенными солнечными зайчиками, которые пробивались сквозь листву деревьев за окном и проникали в комнату, падая на стену, мебель и диванчик, где спал Егорка. И всюду, к чему лепились эти золотистые светлячки, они тихо переливались, мерцали и шевелились как живые, словно и в самом деле были ослепительно пылающими светом бабочками, севшими на отдых, похлопывающими своими крылышками. Чем сильнее вздрагивала под ветерком листва за окном, тем чаще трепыхались и крылышки.

И снова, как недавно во сне, Егорка заулыбался этим солнечным мотылькам. Он резво соскочил с постели и громко прошлепал к окну. Отпихнув край тюлевой занавески, припал локтями к подоконнику, стал смотреть на улицу. Весь двор был объят ярким солнечным светом. Изумрудной клеенкой сочно блестела трава, жгуче освещивали лужи на земле, алмазными чешуйками вспыхивали осыпающиеся с росшей под окном березы дождевые капли.

— Ух ты! – заглядевшись, воскликнул Егорка.

Чему он больше удивился? То ли этим искрящимся брызгам, то ли заливавшему лицу солнцу, ослепительно сверкавшим лужам или всему сразу.

От крика Егорки заворочалась на кровати мать, оторвавшись от подушки, сонно проговорила:

— Ты чего вскочил?

— Мам, на улице солнышко, – радостно сообщил Егорка.

— Ну и что, – безразлично уронила в подушку мать.

— Но так долго его не было! – не скрывал своей радости Егорка.

— Ну и что, – снова глухо донеслось из подушки, – ложись спать. Рано еще.

Егорка еще чуток постоял у окна и нехотя запрыгнул на диван. Спать, конечно, уже не хотелось. Все думы Егорки, его ожидания и грезы были теперь там, на улице, где разгоралось солнечное утро. Еще вчера целый день молотил дождь. И позавчера тоже, и еще раньше, чем позавчера, сколько-то дней кряду дубасил он землю, шлепал по лужам, кидался, толкаемый порывами ветра, на окна, сердито колотил по стеклам. Скучно было Егорке сидеть дома и слушать этот отвратительно злой рокот дождя.

Соседи по квартире сетовали по поводу затянувшегося ненастья, говорили, что лето нынче совсем гнилое. Егорка никак не мог уразуметь, почему это все называют лето гнилым. Какое же оно гнилое? Просто, когда идет дождь, то лето мокрое. А если на улице светит солнышко, вот как сейчас, значит, тогда и лето солнечное. Так думает Егорка, заложив под голову локоток и поглядывая в окно на подрагивающую, продырявленную солнцем березу.

Долго еще смотрел он на обжигающее золотом решето листвы, раздумывая о разном. А потом валяться на диване просто так, когда не спишь, надоело. Тогда Егорка встал, тихо вышел из комнаты, а по коридору, прямо и длинно рассекавшему всю квартиру, помчался вприскачку. Так разбежался, что едва не наскочил на выходявшего из ванной комнаты соседа дядю Мишу.

— Ты куда, Казанок, так распедалился? Уж не гулять ли спозаранку? – поймал его за руку дядя Миша. – Здорóво, что ли?!

И как обычно, с веселой игринкой в глазах, легонько щелкнул Егорку по носу.

— Не, я на кухню.

Сосед дядя Миша всегда так здороваётся. То ладошку Егорке потискает, то просто за плечо потормошит, но обязательно потом долбанет пальцем по носу. Не больно, конечно, но иногда кажется, что не совсем и приятно. И прозвище это дурацкое он тоже придумал. В прошлом году еще, в самый же первый день их переезда в эту квартиру, дядя Миша долго рассматривал Егорку, а потом спросил:

— Ну и как звать-величать тебя, юный друг? Я дядя Миша.

И с откровенным радушием помял Егорке ладошку. А после, еще разок пощупав Егорку взглядом, улыбчиво прищурил глаза:

— А скажи мне, Егорка, почему это у тебя голова такая большая? Прямо не голова, а головища. И еще такая круглая. У меня в гараже казанок стоит такой же вот круглый. Гляди, и под носом у тебя черно от грязи. Ну, как есть казанок закопченный.

С тех пор Егорка и стал для всего дома Казанком. А дворовые ребята еще и напридумывали Егорке много разных дразнилок. Более всех постаралась Наташка из другого подъезда. Она уже перешла в третий класс, и дразнилки у нее получались очень складные: «Казанок, Казанок, съел у бабушки горшок».

Эта Наташка очень вредная, ни с кем почти не дружит и гуляет во дворе только со своей маленькой собачкой. А еще она страшная ябеда. Если кто-то заденет ее, она тут же бежит домой и жалуется родителям на обидчика. Егорка ни за что бы не стал с ней дружить, если бы даже она очень захотела этого.

С другими ребятами с их двора Егорке водиться нравится, хотя они тоже иногда дразнятся, а порой даже ссорятся с Егоркой, но с ними он не перестает дружить, потому что они не такие, как Наташка. А про нее он еще тоже что-нибудь придумает. Вот нынешней осенью пойдет в школу, научится писать и читать, тогда и сочинит про Наташку какую-нибудь смешную дразнилку.

Пришел на кухню и дядя Миша. Постоял у плиты, заварил кофе. Тягучий горький аромат заплывал над плитой, потянулся следом за дядей Мишей, проходившим мимо Егорки.

— Чаек пьешь? Холодный? А мамка что, спит еще? – глянув на Егорку, спросил дядя Миша.

— Угу.

— Мне бы сказал, я б тебе подогрел.

— И так сойдет.

— Поди-ка сюда, – поманил дядя Миша Егорку к своему столу.

Егорка сполз с табурета, а дядя Миша уже доставал с полки пакет с пряниками.

— На-ко вот к чаю, а то, гляжу, пьешь с таким, – и протягивал ему рифленые, покрытые розовой глазурью кругляши.

Заметив, как жадно дрогнули у Егорки ноздри, втягивая подымавшуюся из кружки душистую струйку, дядя Миша с притворной строгостью поиграл бровями.

— А вот кофе не дам. Нельзя еще тебе его пить, а то уши отвалятся.

Хороший все-таки человек дядя Миша, и к Егорке относится с отеческой заботой, хотя и зовет его Казанком, и по носу шелкает. Но он добрый и еще веселый, потому и ладит со всеми. Правда, иногда ругается с тетей Верой, женой своей. Но это бывает тогда, когда от дяди Миши вином пахнет. А почему именно в такие дни они ссорились, Егорке было непонятно. Ведь дядя Миша тогда бывал таким веселым-превеселым, что всем подряд улыбался и по дому ходил смешно как-то, словно приплясывал, и песенки намурлыкивал. Всем это нравилось, кроме почему-то тети Веры. К Егорке в эти дни он с особенной охотой тянулся, любил ему фокусы разные показывать. Например, зажмет в кулаке какую-нибудь вещицу, дунет, разожмет пальцы, и раз – нет той вещицы. А потом достанет ее либо из своего, либо из Егоркиного кармана. Здорово это у него выходило, как у настоящих фокусников, которых по телевизору показывают.

В такие, особенно расположенные к Егорке, дни дядя Миша, бывало, расчувствовавшись, говорил:

— Эх, у меня был бы такой внучок как ты, Егорка! Никак и не дождусь. И дождусь ли когда вообще. Живет мой сынок с какой-то зазнобой, а детей заводит и не думают. Нет бы порадовать меня на старости лет. А то уж скоро я и на пенсию выйду. А жизнь ведь как водица бежит. Что там останется ее? Всего-то на один глоток. А был бы внучок, то-то было бы мне утешение. Это, знаешь ли, великое дело, когда рядом есть еще один родной человечек.

Егорке тоже очень хотелось бы иметь своего дедушку. Такого, например, как дядя Миша, Или все равно какого, лишь бы он только был. Но кроме матери, у него больше никого нет. Была только бабушка. Еще, оказывается, есть отец. Но его Егорка никогда и не видел. Сказывала мать, что он уехал, когда Егорка еще и на свет не народился. Он был приезжий, и некоторое время жил у мамки с бабушкой в их маленьком домике на окраине города. А потом взял и уехал. И где он теперь, мать и сама не знает.

Как-то в их дом, на день рождения матери, пришли ее знакомые по работе. Они принесли с собой цветы и какие-то свертки. Все это подарили матери. К тому времени Егорка уже подрос, яснее и понятливее обозначились линии его лица, форма и цвет глаз, и мамыны знакомые наперебой заверяли друг друга, что Егорка с отцом – одно и то же лицо. Шуршали вокруг Егорки платья, от которых ощутимо духовито тащило духами, со всех сторон тянулись к нему руки с накрашенными ногтями, норовившие потрогать, потормошить за русые вихры, а по кругу, как по заученному, повторялось:

— Ну вылитый Салуянов! Просто копия. А он, зараза, так больше и не появился. Хоть бы весточку какую подал.

— Да нужен он нам, – смуро опалили у матери ресницы. – Нам и втроем неплохо.

Потом, когда все ушли, Егорка подошел к зеркалу, долго смотрел на свое отражение. Качал головой, надувал щеки, нахмуривал белесые брови. Большая с оттопыренными ушами голова в овальном стекле делала то же самое. И тут Егорка разозлился и погрозил ей пальцем.

— Эй, Салуянов, ты зачем от нас уехал? Ну, говори!

Но Салуянов только смотрел на Егорку из деревянной рамы широко распахнутыми в напряженном выжидании глазами и молчал. Тогда Егорка сказал ему:

— Ты плохой, Салуянов!

И отвернулся, и больше уже никогда потом не подходил к зеркалу.

Втроем им действительно жилось не так уж и плохо. Мать ходила на фабрику, а бабушка водила Егорку в садик. Потом гуляли вместе с ней, играли на лужайке возле дома, бродили по тенистым тропкам под вонзавшимися в небо мохнатыми шапками соснового бора, начинавшегося сразу за лужайкой, а иногда отправлялись в длительный путь куда-

нибудь за город на равнинную гладь полей или на речку. В выходной к ним присоединялась мать. Они брали с собой еду и уходили почти на весь день.

Потом Егорка остался с матерью вдвоем. Бабушка заболела и ее не стало. А сколько-то времени погода не стало и их маленького старого домика. Намертво застыло в памяти Егорки то раннее весеннее утро, когда над домом летело высоко в небо оранжевое пламя. Вокруг бегали люди в касках с длинными кишками, из которых тугими струями хлестала вода, и он, Егорка, прижавшись к дрожащей матери, стоял в толпе сбежавшихся соседей и переполненными слезами и ужасом глазами смотрел, как, захлебываясь шипением и треском, умирает в огне их уютный маленький домик...

Дядя Миша пьет свой кофе неторопливо, причмокивая от удовольствия губами, но все время поглядывает на часы. Потом он отставит кружку, в последний раз чавкнет ртом и по обыкновению скажет:

— Ну все, заправились, теперь пора и на работу.

В коридоре тихий шорох, медлительные шлепки ног. Так ходит только баба Нюра, миниатюрная старушка, которая редко выползает из своей комнаты, потому что болеет. За ней ухаживает другая бабка из квартиры напротив, и дочь Дера навещает раз в неделю. Притормозив у кухонной двери, баба Нюра пощурилась щелочками глаз, прошамкала что-то, вроде «утро доброе» и пошелестела дальше в ванную комнату.

Егорка бабу Нюру жалеет. Кто болеет, тех вообще всегда жалко. Еще освежалась в воспоминаниях его хворавшая, прикованная к постели, бабушка. Она страдала и таяла на его глазах. На это было больно смотреть. Слезы толкались у самого горла. Егорка насилу сглатывал их, но на глазах, томимых скорбной жалостью, все равно мокренили ресницы.

Дядя Миша ушел. Егорка понаблюдал за ним из окна. Асфальтовая дорожка огибает дом полукругом, но все ходят напрямик по тропинке через детскую площадку, так ближе. Сверху, со второго этажа, площадку хорошо видеть, ничто не утаится от глаз. Дядя Миша быстро прошагал и немного погода еще кто-то следом, за ним. Но глядеть в окно скучно, тем более, что не на кого больше смотреть, да и не на что. Кроме песочницы и двух железных качалок на площадке и нет ничего. А вот если выйти погулять во двор, и если даже там никого нет, скучно все равно не будет, потому что всегда найдется на улице что-нибудь интересное. Но без спроса не уйдешь. А мать еще не встает.

Но вот наконец-то поднялась. Из коридора слышалось, как она разговаривает с кем-то по телефону. Договорила уже на кухне, убрала мобильник в кармашек халата и, глубоко вздохнув, тяжело выдавила:

— Ох, хо-хо!

Видимо, разговор по телефону чем-то расстроил ее. Когда у матери неприятности, она всегда так вздыхает, либо головой трясет. Покачивает из стороны в сторону и долго молчит, а глаза становятся грустными-грустными.

— Мам, можно, я схожу, погуляю, – просит Егорка, пока мать не замкнулась в себе.

— Сначала поешь, потом и пойдешь, – сухо и немного сердито ответила она.

— Я уже пил чай с пряниками. Меня дядя Миша угостил.

— Чай – не еда. Сейчас кашу сварю, – всё тот же суховато неприятный голос вяжет Егорку.

Приходится ждать, когда мать сварит эту противную кашу. Ждать, конечно, не долго. Вот если бы ее еще и не есть. Но у матери с этим строго, иначе и погулять не отпустит. Конечно, не в этой каше все дело. Это еще и от настроения матери зависит. А то бывает, что и сама гонит Егорку во двор. Обычно это происходит в те дни, когда к матери приходит дядя Гриша. Мать суетится тогда, мотыльком по комнате порхает, то где-то что-то

быстренько приберет, то к зеркалу метнется прическу поправлять, а Егорку поскорей выпроваживает:

— Иди, сынок, погуляй.

А ему, может, и не хочется. В это время как раз мультики по телевизору показывают. Так нет, шагай, давай, на улицу. Он за порог, а они дверь на замок. И почему Егорка им мешает? Какие такие секреты у них водятся, что запирается всегда надо.

Дядя Гриша Егорке не нравится. Скучный он и губы у него вечно поджаты, как будто он обижен на что-то. И не улыбнется даже никогда. А может, это улыбка у него такая? Во всяком случае, когда Егорке конфетку сует, губы у него еще больше поджимаются.

Одно и то же Егорке слушать приходится:

— Ну что, братишка, как твоя житуха?

И затем тихонечко макушку Егорке погладит. Какой он ему братишка? Уж лучше бы Казанком величал да по носу щелкал, как дядя Миша, чем по голове гладить. Дядя Миша хоть шутейно с Егоркой обращается, зато с доброй душой. А дядя Гриша – не разберешь и как: то ли по-дружески, то ли с холодком, все у него спрятано в непонятно как поджатых губах...

Каша варится, мать сидит подле плиты, телефоном щелкает. А Егорка опять стал глазеть в окошко. Взгляд скользнул по грязно-желтой песочнице, качелям, выхватил в отдалении на асфальтовой площадке двух велосипедистов, лихо накручивающих круги, и не отпустил до тех пор, пока эти гонщики не съехали с площадки и не скрылись за углом дома.

— Мам, а ты когда мне велосипед купишь? Ты же обещала.

Как-то странно под матерью скрипнул стул, даже и не проскрипел, а чудно пискнул, когда она ерзнула по нему. А в косо стрельнувших на Егорку глазах и удивление, и какая-то тусклость одновременно.

— Во-первых, я что-то не помню, чтобы я обещала. А во-вторых, знаешь, сколько твой велосипед стоит?! А лишних денег у меня нет. Не забывай, что тебя еще в школу собирать надо. Один только ранец пятьсот рублей стоит. А много ли теперь заработаешь, когда мы неделю работаем, да две дома сидим. А скоро, может, и совсем фабрику закроют.

Егорка знал об этом. Мать часто повторяла примерно одно и то же, что и денег у нее никогда не бывает, что и на работу редко ходит, и что к школе готовиться надо. Только вот про свое обещание ни разу не вспомнила. А ведь посулила же зимой. И забыла.

Кашу запихивал через силу, аппетит уже перебил чаем с пряниками. Но хитрил перед матерью, нарочно часто ворочая ложкой. Половину порции кое-как одолел, остальное размазал по тарелке.

Гулять мать и за полтарелки отпустила, проводив своим неизменным, надоедливым:

— От дома никуда не отходи. И смотри, не пачкайся.

На дворе никого еще нет. А без ребят он кажется каким-то неуютным, заброшенным, словно пустырь. Зато какая благодать кругом от взыгравшего над миром солнца. Его плавленный до бела свет бьет в глаза, слепит, радужными хлопьями повисает на ресничках. Выполосканная затяжными дождями трава горит изумрудным глянцем, горят белым огнем запененные в закрайках лужи, сияют и дома, и стекла окон, и лавки, и качели. Только небо в вышине блекло-голубенькое. «Наверное, дождики всю синюю краску с него смыли,» – думает Егорка.

Из соседнего подъезда вышла Наташка со своим пупсиком – крохотной собачонкой. Прошла мимо Егорки, ехидно вывернула язык. Ее пупсик потянул веревочку к Егорке, два раза тявкнул и испуганно шархнулся обратно к ногам своей вредной хозяйки. Хотелось и

Егорке ответить Наташке язвительно скорчившейся рожицей, да четырехногий заморыш больше разозлил.

— Абрикос сушеный, – давил глазами собачонку.

"Сушеным абрикосом" Наташкиного песика прозвал дядя Миша. Почему "абрикосом"? Потому что цвет гладкой, будто отутюженной, шерстки собачьего отпрыска был в точности как у спелого абрикоса. А почему "сушеный" тоже понятно. Мордочка у малютки была вся какая-то приплюснутая, черноватая, будто сковородкой по ней шарахнули, да так, что ушки съезжились, глазки провалились, сошлись к самому носику, который вообще превратился в засохший катышок.

— Сам ты сушеный, – огрызается за собачку Наташка, подсаживаясь на качели.

Оттолкнувшись ножкой, качнулась туда-сюда, навела на Егорку насмешливые глазки и зататорила старую песню:

— Казанок, Казанок...

Егорку было тоже начинала заедать едкая накипь злости на Наташку, хотелось и ему отплатить ей чем-нибудь дерзким, но перетерпел, сделал вид, будто ему безразлично. А потом и вовсе отвернулся от нее. Можно ведь смотреть и в другую сторону. А то еще лучше можно сделать, чтобы не мусолить глаза Наташке: уйти куда-нибудь. Например, к соседнему дому. Позади него во дворе стоят мусорные бачки. Туда иногда, как магнитом, тянуло всех уличных мальчишек. Где, как не на свалке, можно отыскать какую-нибудь железяку, моток проволоки, интересную вещицу, выброшенную за ненадобностью взрослыми, но завсегда находившую применение у мальчишек в их детских забавах и игрищах.

Возле мусорных бачков подходящей штуковины для забавы не нашлось. Поторчав немного перед грудой хлама и мебельного старья, Егорка свернул к пятиэтажке. Во дворе дома на обочине тротуара и прямо у подъездов стоит много разных автомашин. Ничего, конечно, особенного. Машины как машины. Сколько их теперь развелось. Они день и ночь тут стоят. Но мимо одной, черной, видимо, недавно здесь появившейся, Егорка не мог просто так пройти. Играющая солнечными бликами полировка автомобиля заворожила его. Маленькие солнышки сверкали повсюду: на дверцах, на капоте, на затемненных стеклах, огнисто дробились даже на колесах. Солнечные живчики так заворожительно посверкивали, что хотелось потрогать их. И Егорка, наверное, потрогал бы, но в тот момент услышал сорвавшийся откуда-то сверху резкий грубый голос:

— Эй, лопухий, ты чего тут делаешь? Ну-ка отойди от машины!

— Я ничего не делаю, – поднял Егорка глаза к раскрытому окну на втором этаже, из которого выглядывало лицо какого-то лысого дядьки. – Я просто смотрю.

— Один такой-то смотрел, да дырку глазелками проел. Пошел отсюда, говорю! – снова загремело из окна, и на этот раз так грозно, что Егорка отскочил от машины, словно из окна выплеснули на него ведерко кипятку.

Далеко уже отошел, а под рубашкой и вправду будто пожигало, и что-то еще горячее, обидное вскипало глубоко-глубоко в груди. «И зачем его прогнали? Жалко, что ли, этому дядьке? И как это можно глазами дырку проесть?» Как же муторно на душе стало! И от этого вдруг все как бы даже померкло вокруг. И солнце стало каким-то тусклым, и трава не так зеленела, лужи на земле и те потемнели, будто снова набежали в небе мрачные дождевые тучки, тяжело нависли над городом, затмили веселый день, нагоняя тоску и унылость.

Так понуро и вяло натываясь глазами на что придется, и шагал Егорка к своему дому, пока не увидел выскочивших из подъезда братьев-близнецов Сашку и Лешку, с которыми он сдружился еще в садике. Братья – ребята бойкие, шустрые. С ними играть не только

никогда не наскучит, но и целого дня покажется мало. А еще они всегда приносят с собой так много игрушек, что про все на свете забывается, а про самое скверное и подавно.

Когда Егорка подошел к ребятам, те уже раскладывали в песочнице машинки, совочки и прочие игрушки, которые смогли унести в руках и своих кармашках.

— Ты с нами будешь играть? – спросил Егорку Лешка, считавшийся первым заводилой во всех детских забавах.

— Мы будем строить город, – тряхнул такими же как у брата соломенными кудряшками Сашка.

Еще бы Егорка отказался! Затея братьев ему очень понравилась, к тому же своими игрушками те завалили всю песочницу. Дома у Егорки игрушек почти нет. Когда-то было много, но все они сторели в старом доме. А новые мать не покупает. Теперь любая игрушка-безделушка стоит денег, говорила она. Правда, на день рождения Егорки все же купила одну такую безделицу. Но дня через три она ни с того, ни с сего рассыпалась на части прямо у Егорки в руках. Сначала поотлетали винтики, потом, как кузнечик, выпрыгнула пружинка, и красивая игрушка превратилась в изуродованную пустышку.

— Китайская, – посочувствовал тогда дядя Миша, – с виду яркая, но хлипкая. На что такая годится? Такой – не играть, а заместо шаров елку вон украшать. Вот в наше время игрушки из железа клепали, захочешь – и молотком не раскурочишь.

Вместе с братьями Егорка принялся лепить из песка домики и разные башенки. Старался он очень, изощряясь настолько, насколько хватало его детской выдумки. Все были так увлечены игрой, которую сами и придумали, что оттащить их от песочницы было уже невозможно. Разве что-нибудь необычное могло бы заставить их прервать интересное занятие. И это необычное вскоре явилось перед ними в лице еще одного мальчишки с их двора.

Сам Сережка, который был старше ребят и уже учился в школе, вряд ли удостоился бы такого пристального внимания, если бы не то, что он держал в руках. И это сразу заворожило, вызвало громадное любопытство у ребят.

— Это у тебя что? машинка?

— Ух ты, какая большая!

Ребята обступили Сережку, с завидным удивлением глаза на диковинку, норовя потрогать ее своими руками.

— Ну, вы! – ревностно отстранял локтем назойливо тянущиеся руки Сережка. – Чего трогаете? У вас вон и руки все в песке.

Тут же все поспешно замахали руками, отряхивая прилипшие песчинки, кто ладошкой об ладошку, кто прямо так об штаны.

— Все равно трогать нечего, – твердил свое Сережка. – Это вам не игрушка.

— А что же это? – спросил Егорка.

— Это радиоуправляемая модель автомобиля, – с гордостью ответил Сережка. – Конечно, ею тоже играют, но не так, как обычной машинкой, а по-другому.

— А как же тогда играют? – спросил кто-то из братьев.

— С умом, вот как.

Лешка с Сашкой поглядывали на Сережку недоуменными, одинаково округленными глазами, а Егорка сосредоточенно потирал пальцем лоб, соображая, как еще можно по-другому играть такой машинкой.

А Сережка подождал-подождал, пока у ребят еще больше возрастет любопытство, и стал толково объяснять:

— Вы свои машинки руками катаете, а эта сама ездит. Куда захочу, туда и поедет. Надо только умеючи управлять ею вот этим пультом, – показал он ребятам подвешенную на ремешке пластмассовую коробочку.

— Ой, Сережка, покажи, как она ездит. Покажи!

Запросили все сразу, перекрикивая один другого. А потом, притихнув, с затаенным дыханием смотрели, как Сережка ставит на землю машинку, как берет в руки коробку и начинает нажимать на ней кнопки. Смотрели, как на волшебника из сказочного мультика, который одним взмахом руки мог заставить какую-нибудь вещь двигаться или даже разговаривать человеческим голосом.

И чудо свершилось. Подчиняясь Сережкиным пальчикам, машинка вдруг ожила, отозвавшись тихим жужжанием, и мягко покатила мимо песочницы по утопанной до каменной твердости тропе. Сережка покрутил какое-то колесико на коробке, и машинка послушно заюлила из стороны в сторону, а потом, круто развернувшись, помчалась обратно и замерла у Сережкиных ног.

— Ух ты! Вот здорово! – огласился двор восторженными криками ребят, а озаренные восхищенным сиянием глаза их прыгали то на чудо-игрушку, то на Сережку, как на кудесника.

— Здесь места мало, – подняв машинку, огляделся Сережка, – погонять-то негде, трава кругом и кочек много. На дорогу надо идти. Или лучше вон туда, – указал он глазами в сторону площадки, где Егорка видел утром из окна велосипедистов.

И возбужденная компания двинулась на асфальтированный участок в конце двора, предназначенный под торговые палатки, которые почему-то так и не поставили. Зато место себе облюбовали велосипедисты, демонстрируя там свои фигурные выкрутасы в езде.

Вот уж где было раздолье! Площадка хотя и небольшая, но зато нет ни травинки, ни единой кочки, только кое-где лишь лужицы поблескивают застывшим отраженным небом. А это не такая уж и большая помеха. С лужами было даже еще и интереснее. Сережка запускал машинку, а сам бежал следом и, орудуя пультом, как заправский гонщик, ловко маневрировал между зеркальных оконцев. А позади него, рассыпаясь многоликим топотком ног и в точности копируя все Сережкины движения: повороты и наклоны, друг за другом, словно схваченные одной веревочкой, неслись галопом ребята.

Когда Сережка останавливался передохнуть, они обступали его, и тогда каждый начинал канючить:

— Сереж, дай попробовать.

— Вы не умеете. Думаете, это просто.

— А ты покажи как. Ну, дай хоть маленечко.

Сережка упрямо мотал головой и неизменно повторял одно и то же:

— У вас не получится. Говорю же, что это непросто.

Наверное, жадничал. А может, действительно боялся, что они не справятся и к тому же еще и могут машинку поломать. И на лице его твердо и невозмутимо стояло лишь одно: смотреть – смотрите, а в руки все равно не дам.

Конечно, смотреть – одно, а самому попробовать – совсем другое. Тем более, что Сережка накручивает своей машинкой такие виражи, отчего всех до щекотки в носу завидки берут.

— А давайте вместе придумаем какую-нибудь игру, чтобы всем было интересно, – все-таки сжалился над товарищами Сережка.

Но придумывать никому так и не пришлось. Откуда-то вдруг появились на площадке двое подростков. Наверное, просто проходили мимо и зашли на шумок. Один был тощий, длинный, в черной майке, пестреющей пунцовыми буквами и частоколом зеленых

загогулин, сквозь которые зловеще скалился оранжевый череп. Другой – на голову ниже, но гораздо плотнее, и тоже в футболке с черепом. Тот, что повыше, сразу же подошел к Сережке и с развязной наглостью, присущей тем, кто привык относиться к более слабым с чувством великого превосходства, скорее потребовал, чем попросил:

— Ну-ка, малец, покажи свою игрушку.

С тяжелым сердцем расставался с машинкой Сережка. Не по его воле переключалась она в чужие руки. А по-хорошему, попробуй, не дай, все равно бы отняли. А еще подумал: посмотрит пацан, попробует разок, другой, и вернет. Хотел даже показать, как пользоваться пультом надо. Но долговязый грубо отодвинул его.

— Что я, не знаю, что ли.

И тут началось такое, отчего Сережку просто залихорадило. Чужие, небрежные руки стали нещадно делать то, на что вообще они были способны, машинка бешено носилась по площадке, лихо подскакивая на крутых поворотах, ныряла в лужицы, натужно гудя там, как сердитый шмель.

Сережка семенил за подростком, пытался ухватить его за руку, хныкал:

— Не надо так. Нельзя по лужам.

— Отстань! – отмахивался долговязый.

— Отдай! – умаливал Сережка, и глаза его уже заволакивало слезами.

— Отвали! Это же ралли, что ты в этом понимаешь, малец.

Одно лишь понимал Сережка в своей беспомощности, что так просто машинку ему не вернут. В охватившем его слепом отчаянии он только угрюмо размазывал по щекам горячие слезы.

И вдруг опять:

— Отдай!

И голос прозвучал твердо, уверенно, достойный всякого уважения. Поэтому и застолбил он долговязого, тем более принадлежал этот голос какому-то малявке, неожиданно возникшем перед самым носом.

— Отдай! – снова повторил Егорка, посверкивая на долговязого под косо опавшими белесыми бровями горчичными иглами глаз.

— Чего?! – с минуту недоуменно разглядывал тот круглую голову Егорки, от удивления ли, или от нервного напряжения, подергивая левым веком. – Ах ты, сопля зеленая! Пошел отсюда!

И так грубо и сильно отшвырнул Егорку, что тот, отлетев на несколько шагов, едва-едва не распластался на земле.

Однако этот ощутимый тычок не убавил у Егорки упорства и решимости. Наоборот, какая-то новая, жгучая волна подхлестнула его, что-то небывалое, едкое и колючее появилось на лице. Отпятившись немного назад и озлобленно сжимая кулачки, Егорка пригнул голову, разбежался и со всего маху врезал своим крутым лбом ничего не подозревавшему подростку прямо в живот. Удар пришелся как раз в ту часть, где отдает пронзительной болью, и дыхание вылетает вон. Охнув, жердевый юнец стал наполовину короче, сложившись пополам, а потом и вовсе скрючился, сев на корточки. Тут же на помощь долговязому примчался его товарищ. Порядочной оплеухи не получилось, только макушку Егорке на лету пригладил. Тогда, сграбастав Егорку, он нарочно пихнул его в большущую лужу, стекленившую рядом с площадкой широкое пространство. И Егорка не устоял, кувыркнулся прямо в плавающие лебедиными грудками отраженные облачка. Бесформенное крошево осталось от красиво купающейся белой стайки, во все стороны взбаламученной лужи покатились волнистая зыбь. И над этим сокрушенным миром какой-то безобразной дикостью выростал, поднимаясь на ноги, Егорка. Мутными потоками

рушилась с его одежды вода, серыми шкварками сползала грязь, саднили резью сведенные локти. Егорка прикусил губы, часто-часто захлопал глазами. Не от боли, конечно, и не от того, чтобы не расплакаться. Он уже давно не знал своих слез. И даже тогда, когда было очень больно, научился терпеть, как взрослые. Не от этого кусал Егорка губы, а от негодования, полыхнувшего в его сердце от только что свершенного над ним злодеяния, а веки прыгали в несоразмерной беспорядочности от того лишь, что глаза его начинали раскаляться неистовой жаркой злобой. Так же, как несколькими минутами раньше, Егорка весь напрягся, стиснул кулачки, так же как на долговязого по-бычьему подогнул голову и пошел, пошел на своего обидчика.

Даже у более сильного тоже иногда при некоторых обстоятельствах холодеют поджилки. Наверное, и у этого подростка, выхолаживая кровь, пробежала по жилам оторопь. Он как-то суетливо вильнул глазами по сторонам, пододвинулся поближе к своему товарищу, который все еще держался рукой за живот, и сказал то ли себе, то ли товарищу:

— Да он псих. Больной, наверно.

И уже определенно долговязому:

— Пошли, Серый, была охота связываться с этой сопливой мелюзгой. Вон сюда и мужик какой-то идет. Наверно, чей-нибудь папаша.

Они быстро ушли, скрываясь от глаз "папаша" за близ расположенными гаражами. А мужик прошагал мимо площадки, ни разу не глянув ни на кого, даже мокрый и грязный Егорка не привлек его внимания.

Теперь, когда наступило прежнее спокойствие и больше не предвещало каких-либо неприятностей, ребята оживились. Конечно же, на гребне общего возбуждения был Егорка.

— Здорово ты этому длинному врезал!

— И тому, другому, тоже бы надо.

— Где ты так научился? Прямо – раз в поддых башкой!

— Хорошо, что ты помог, а то бы этот гад точно машинку разбил. Мне бы от отца тогда влетело, – с признательным возбуждением суетился пуще всех возле Егорки Сережка, посверкивая мокрыми, но уже просветленными глазами. – Хочешь поиграть? Ну чего, бери же...

Егорка отводил измазанные грязью руки за спину, глухо отвечал:

— Да как мне, я же вон грязный весь и мокрый.

— Так ты сбегай домой, переоденься и приходи. Мы тебя здесь будем ждать.

Это-то ясно Егорке, что надо идти переодеваться. Вот только как он в таком виде зайвится домой? Мать как увидит, такой вой подымет, что потом о гулянке можно уже и не думать. А что делать? Повздыхал, поежился Егорка от клейко приставшей к телу сырости и тихо, угрюмо поплелся к дому.

Дома, как и следовало было ожидать, мать встретила его всплеском мучительно жесткой брани.

— Ну и что это такое?! На кого ты похож? Где тебя черти носили?! – секли иголками возгласы матери.

— Я... я в лужу упал, – понуро опустив голову, промямлил Егорка.

— Он в лужу упал! Другие что-то не падают. Господи, и рубашку порвал! Да где я тебе, поросенку, одежды напасусь, – оглушительно звенел в ушах у Егорки гневным материн голос. – Быстро скидывай все, и марш в ванную! И у меня теперь... Слышишь?! Ты у меня теперь неделю на улицу носа не высунешь.

Буря понемногу стихала. Егорка неловко стаскивал у порога липкую одежду, косился на мать, сердито гремевшую на кухне железным тазиком, терпеливо дослушивал соленые остатки негодования. Больно, нестерпимо горько душило его отчаяние. Один день, конечно,

можно было перетерпеть. Но целую неделю в наказание сидеть дома, как грозила мать, это уже слишком. Тут есть отчего нагрузить грусть-тоской свое сердце. Но вдруг подумалось, неожиданно и тепло как-то поскребло легонечко и нежно, точно котенок лапкой по кожице. А подумалось Егорке, что навряд ли всю неделю придется ему сидеть дома, потому что со дня на день к матери должен прийти дядя Гриша. Давно же его не было. Вот если бы он уже сегодня пришел, и тогда мать скажет:

— Поди, Егорка, погуляй на улице.

От такой думки и на сердив у Егорки сладко поскребло лапкой. Он забежал в кухню, бросил в тазик грязное белье и, прежде чем идти в ванную, прильнул на секундочку к окну, чтобы поглядеть на желтеющую наискосок площадки строчку тропы, а вдруг уже прямо сейчас по ней шагает дядя Гриша. А в глаза горячо и ласково хлещет слепящий свет взмахнувшего в необозримую высь солнца. Егорка прижмурил веки, и так же, как поутру во сне, покрыла его губы развеселая улыбка.